

Н. И. ПЕТРОВСКАЯ
ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Публикация Ю. А. Красовского

Имя Нины Ивановны *Петровской* (1884—1928) ныне почти забыто. Однако в свое время оно было хорошо известно в кругах писателей-символистов: жена и помощница владельца издательства «Гриф», С. А. Соколова (Кречетова), хозяйка литературного салона, сама подающая надежды молодая писательница, Петровская принимала живое участие в литературной жизни 1900-х годов.

Впервые в печати Петровская выступила в 1903 г. — в альманахе «Гриф». Затем ее рассказы, фельетоны и рецензии печатались в журналах «Весы», «Перевал», «Русская мысль», в газетах «Утро России» и др. В 1908 г. вышел сборник ее рассказов «Sanctus amor» («Святая любовь»). Литературное дарование Петровской Брюсов считал весьма незаурядным: «Со всей откровенностью и со всем беспристрастием могу сказать тебе, что здесь, в литературе, *есть* для тебя будущее и жизнь, — писал он ей 11/24 декабря 1908 г. — Ты знаешь, что я не очень высоко ценю все, что ты сделала до сих пор. Твою книгу, по-гимназически, я оцениваю «три с плюсом», твои рецензии — «три с минусом». Но я больше других знаю все существующие для тебя возможности. У тебя душа самобытная, у тебя оригинальный, свой взгляд на все, у тебя острая, меткая, тонкая наблюдательность, у тебя понимание стиля. Твой разговор всегда интересен; твои суждения самостоятельны и глубоки; твой слог принадлежит тебе <...> Надо работать, и много, и очень много: это я утверждаю бесспорно»¹.

Но Петровская так и не сумела реализовать эти возможности. Глубокая личная драма заставила ее покинуть Россию. В 1908 г. она поселилась во Франции, изредка приезжая в Москву, откуда в 1911 г. уехала, чтобы больше не возвращаться. «Я не эмигрантка, — писала она позднее, объясняя причины, заставившие ее остаться за границей навсегда. — Мотивы сложные и чисто интимные привели меня к этому решению»². Брюсов в письмах убеждал Петровскую вернуться, доказывая, что от возвращения на родину зависит ее творческая судьба: «русской писательницей нельзя быть, живя в глуши французской провинции» (см. наст. том, стр. 796). Но Петровская не нашла в себе сил выполнить совет Брюсова. В результате литературная деятельность ее почти прекратилась и свелась главным образом к переводам.

Годы войны и революции Петровская провела в Риме, а в 1922 г. переехала в Берлин, где сотрудничала в сменовеховской газете «Накануне». В 1924 г. она предложила издательству «Петрополис» (Берлин) свои воспоминания «о Валерии Брюсове и эпохе, с ним связанной, — личные и литературно-общественные» (так она сама характеризовала их в письме к Горькому³).

К концу 1924 г. положение Петровской было исключительно трудным: связи с родиной полностью оборвались, а послеоктябрьская эмигрантская среда оказалась ей чуждой; попытки издать воспоминания оказались безуспешными, и с закрытием «Накануне» она оказалась фактически без средств к существованию. Доведенная до отчаяния, она обратилась за помощью к Горькому: «Дорогой Алексей Максимович, — писала она ему 23 ноября 1924 г., — вы всегда любили и жалели «человека» — во имя этого, если можете, помогите мне, как последний из людей, к которому я отчаянно обращаюсь <...> Я хочу работы, работы, работы, — какой бы то ни было»⁴.

Горький стремился помочь Петровской. В письмах к М. Ф. Андреевой и некоторым другим своим корреспондентам он просит подыскать ей работу, характеризуя Петровскую как «женщину, достойную помощи и внимания»⁵, дает поручение П. Крючкову послать ей денег⁶, предлагает напечатать ее воспоминания в журналах «Беседа» и

«Русский современник». 9 августа 1925 г. он пишет А. Н. Тихонову: «Очень рекомендую для «Русского современника» воспоминания Нины Петровской о В. Я. Брюсове. Вещь — интересная и, разумеется, более человечная, чем статья Ходасевича, хотя и не столь блестящая»⁷.

Однако в 1925 г. и «Беседа», и «Русский современник» прекратили свое существование, и воспоминания остались ненапечатанными.

Последние годы жизни Петровской сложились трагически: почти полное одиночество, нищета и тяжелое психическое расстройство привели ее к катастрофе — 23 февраля 1928 г. она покончила с собой.

После смерти Петровской написанные ею воспоминания остались у ее берлинской знакомой — Е. В. Галлоп-Ремпель. Вернувшись в СССР, Галлоп передала их в 1934 г. в Государственный Литературный музей. В 1937 г. в печати появилась информация о том, что рукопись Петровской предполагается опубликовать в очередном томе «Летописей» Гослитмузея⁸; однако издание этого тома не осуществилось. Ныне воспоминания Петровской хранятся в ЦГАЛИ, куда поступили в 1941 г., вместе со всем собранием рукописей Литературного музея.

Рукопись воспоминаний представляет собой отрывки двух редакций: 1) черновой автограф (разрозненные листы, авторская пагинация: 1—10, 17—20, 64—84, 86—92); 2) белой автограф (без начала, авторская пагинация: 8—61) — ЦГАЛИ, ф. 376, оп. 1, ед. хр. 2. Кроме того, сохранилась машинописная копия с правкой Галлоп-Ремпель, представляющая собой контаминацию этих редакций (там же, ед. хр. 3).

Судя по незавершенности автографов, а также принимая во внимание свидетельство Галлоп-Ремпель, что в последние годы жизни по ее настоянию и при ее поддержке Петровская работала над своими воспоминаниями, можно предположить, что работа эта не была полностью закончена. Вероятно также, что часть текста (помимо недостающих страниц имеющегося в нашем распоряжении автографа) утеряна: из приведенного выше письма Горького видно, что в его руках была глава, специально посвященная Брюсову; это была, по-видимому, четвертая глава, озаглавленная «В. Я. Брюсов», — в автографе воспоминаний сохранилось только несколько ее фрагментов.

Тем не менее, при всей отрывочности и незавершенности воспоминания Петровской представляют несомненный интерес. Перед читателем встает яркая картина литературной жизни 1900-х годов. В них нашла отражение ранняя эпоха русского символизма — возникновение издательства «Гриф», литературная борьба между двумя группировками символистов, которые объединились вокруг «Грифа» и «Скорпиона». На страницах воспоминаний проходят многие представители символизма — Бальмонт, Сологуб, Вяч. Иванов, Эллис, Курский, А. Белый. Центральной фигурой воспоминаний является Брюсов. Характеристики людей, зарисовки отдельных эпизодов московской литературной жизни сделаны остро и с той наблюдательностью, которую ценил в Петровской Брюсов. Однако весьма критическое отношение к декадентской «толпе» сочетается у Петровской с шлетом в отношении руководителей символизма, а убеждение, что «на дне души каждого художника живет «мистическое чувство», приводит ее к истолкованию многих стремлений Брюсова как порывов к иррациональному.

Известно, что с именем Петровской связаны многие стихотворения Брюсова, особенно в сборнике «Stephanos», что она является прототипом Ренаты из романа «Огненный ангел», что ее связывали с Брюсовым долгие годы близости. Поэтому ее воспоминания являются важным источником для характеристики Брюсова периода 1903—1905 гг., несмотря на то что они более сжаты и сдержанны по тону, чем те, которые Петровская посвящает другим лицам. В черновых набросках автор дает этому свое объяснение: «Десятого апреля исполнится $\frac{1}{2}$ года со дня смерти Валерия Брюсова. Апрельский дождь окропит его могилу в Девичьем монастыре <...> Я не видела Брюсова в гробу. В памяти он жив и бессмертен. Но говорить о человеке и поэте, которого я не только знаю, но которого чувствовала и чувствую до сих пор неотъемлемой частью моего бытия, говорить через $\frac{1}{2}$ года после его смерти не только трудно, но и ответственно. Ни в одной детали событий, нас связывающих, мне не изменяет память, но, следуя внутреннему голосу, я отдаю этим страницам не более чем десятую часть моих личных и интимных воспоминаний»⁹.

Ниже публикуются фрагменты из воспоминаний Петровской, в которых идет речь о Брюсове; при этом используются обе редакции (ЦГАЛИ, ф. 376, оп. 1, ед. хр. 2). Фрагменты черновой редакции печатаются вслед за беловым текстом (от слов «Символистская эпоха...» — стр. 780 и далее, до конца).

Существенным дополнением к воспоминаниям, как бы продолжающим их хронологически, является переписка — 144 письма Брюсова и 198 писем Петровской за 1903—1912 гг. (ЦГАЛИ, ф. 376, оп. 1, ед. хр. 4; ф. 56, оп. 1, ед. хр. 95; ИМЛИ, ф. 13, оп. 3, ед. хр. 38, 39, 105; ГБЛ, ф. 386. 72. 12 и 386. 98. 18—22).

В приложении к публикуемым воспоминаниям печатаются выдержки из писем Брюсова за 1906—1909 гг., в которых содержатся суждения о литературе и современной литературной жизни, а также высказывания, раскрывающие творческий мир поэта, поиски им новых путей. Все выдержки взяты из писем, хранящихся в ЦГАЛИ.

¹ ЦГАЛИ, ф. 376, оп. 1, ед. хр. 4, л. 57—57 об.

² ЦГАЛИ, ф. 376, оп. 1, ед. хр. 2, л. 1.

³ АГ, КГ-п 5—6—1.

⁴ Там же.

⁵ Письмо без даты — АГ, ИГ-рл 2а—1—59.

⁶ Письмо от 4 сентября 1926 г. — АГ, ИГ-рл 21а — 1 — 93.

⁷ «Горьковские чтения. 1953—1957». М., 1959, стр. 51. Воспоминания В. Хода-севича о Брюсове были напечатаны в журнале «Современные записки», 1925, кн. 23.

⁸ ДН, т. 27-28, стр. 691.

⁹ ЦГАЛИ, ф. 376, оп. 1, ед. хр. 2, л. 96.

Помнится, приблизительно за год до возникновения книгоиздательства «Гриф», у меня необычайно обострилось томление по жизни, горькая тоска существования, где ничто не вызревает и не завершается, где каждый день с утра очеркивается сознанием ненужности, а вечером сводится к нулю, к пустоте, к небытию. <...>

Читала тогда много с инстинктивным, но глубоко тенденциозным выбором. Прежде всего шли оккультные книги, потом французские символисты, русские — Минский, Мережковский, Гиппиус, все вышедшие сборники В. Я. Брюсова, Бальмонта, «Мир искусства», «Северные цветы» т. д.

Вся новая русская литературная проповедь, осмеянная растлителем мысли критиком Акимом Волынским¹, была мне известна от доски до доски. И все, обусловившее художественный стиль целого поколения, было мне близко органически, но реальное бытие этих больших писателей представлялось легендой о башне из слоновой кости, где мало и званых и избранных. Первым из тех недоступных, державших в руках ключи подлинной жизни и подлинной литературы той русской эпохи, томил мою мечту Брюсов.

Маленькие сборники его «Chefs d'Oeuvres» и «Me eum esse», — потом вышное «Urbi et Orbi» стали для меня символом моей новой веры. Их брали иногда с полок и этажерок наши гости, выложенные мумиеподобные адвокаты и прокуроры и их вертлявые жены в бриллиантах; эlegantнейшие артиллерийские офицеры (сослуживцы Кречетова по отбыванию воинской повинности), щелкая шпорами, не прочь были тоже поболтать о литературе. До них, очевидно, как-то досочилась ядовитая слюна Акима Волынского, и слово «декадент» — смешное, пошлое и крикливое, ни в чем Брюсова не выражающее, — как бумажный хвостик, прицепилось к краю его багрянницы.

Офицеры, адвокаты, разжиревшие спекулянты, модные актеры и т. п. — вся эта нечисть, питавшаяся гноем эпохи перед 1905 годом, так и была уверена, что Брюсов ест засахаренные фиалки, по ночам рыскает по кладбищенским склепам, а днем, как фавн, играет с козами на несуществующих московских пастбищах!.. Слово «Метрополь» вызывало немед-



КАТАЛОГ
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА
«СКОРПИОН» на 1902 год
Обложка

Рисунок Н. Г. Филианского

ленно приятнейшую ассоциацию пышного раззолоченного кабака, и едва ли кто-нибудь из них знал, что на заднем дворе этого сладостного «Метрополя» в двух маленьких комнатках ютится настоящий русский литературный Олимп, где куется самая утонченная наша культура. Кто знал тогда имена Ив. Коневского, Добролюбова, Балтрушайтиса, тех самых верных соратников Брюсова, и самоотверженного издателя «Скорпиона», «Весов» и «Северных цветов» — Сергея Полякова, в прекраснейших переводах познакомившего публику с избранными образцами скандинавской литературы. Кто их знал? <...>

Валерия Брюсова сжигала мечта об увенчании русской литературы в веках и, «гордый, как знамя, острый, как меч»², он шел по пути, *им* сознательно намеченному, вынося на своих плечах «Весы» и весь «Скорпион» до последней гранки. Даже вся техническая часть проходила через его руки.

В программе же «Грифа», кроме произведений немногих сотрудников «Скорпиона», утопающих в неприятной пестроте ненужных имен, не было ничего нового. <...>

«Гриф» при его гордых замашках не стал филиальным отделением «Скорпиона», а это было бы вовсе не плохо и даже полезно для расширения одного сплоченного фронта, в то время очень нужного. Если бы не стихийный К. Бальмонт и республикански настроенный С. Кречетов, а «академический» Брюсов был бы хотя его даже отдаленным руководителем, дело бы по-настоящему и пышно процвело.

Стоя к «Грифу» ближе всех, я с первых же шагов поняла, какой червь выест, может быть, совершенно незаметно для публики, слабую, но тогда еще живую ткань сердцевины его.

«АЛЬМАНАХ ГРИФ». М., 1904

Обложка.

Рисунок М. А. Дурнова



Разговор об этом повел к внутреннему расколу между мною и мужем-редактором, потом к бесполезной борьбе и, наконец, к открытой вражде.

Для непосвященных, для газетных церберов (Любошиц³, Яблоновский⁴ — «имя им легион»), свирепо лающих со всех эстрад (как и для московских обывателей), между «Скорпионом» и «Грифом» не было разницы. Для них просто-напросто развернулся ненавистный декадентский фронт — усилилось растлевающее литературное влияние. Такое ошибочное приятие «Грифа» всячески способствовало славе его, сначала, конечно, скандальной, а потом и признанию как довольно крупного культурного начинания.

Сами сотрудники «Скорпиона» этому способствовали потом всячески (кроме Брюсова, Балтрушайтиса, Садовского и нескольких второстепенных сотрудников «Весов»). Присылал свои вещи А. Ремизов, прислал М. Кузмин после яростной ссоры между нами отвергнутые редактором «Крылья»⁵, печатался С. Ауслендер⁶, Дымов⁷.

Вещи, отвергнутые «Скорпионом», радушно принимались «Грифом», оскорбленные самолюбия выплакивались в редакторскую жилетку. Терпимость С. Кречетова приобрела широкую популярность, особенно когда возник «Перевал», окончательно загубленный журнал, несмотря на большие возможности⁸.

Что делал в это время Брюсов? Он пока только равнодушно отмахивался от шумихи, как отстраняет могучей лапой большой пес шумливого надоедливового щенка. Впоследствии он даже появился на одном из наших вечеров, очень сухой, корректный, выслушал несколько стихотворений, один мой рассказ (стыдно вспомнить, до чего плохой!), не высказал никаких суждений, любезно согласился остаться ужинать, прочел сам несколько вещей, все время оставался, как капля масла на воде, и скрылся на полтора года <...>

В ту осень, накануне грозного 1905 г., как во все катастрофические эпохи, московская жизнь завилась блистательным вихрем. Развращающее влияние популяризованного «декадентства», буйно прорвавшего все плотины и хлынувшего в толпу, закружилось смерчами во всех эстетизирующих барственных кругах и докатилось даже до гимназических застенков. И, конечно, законодателем (хотя и невольным, быть может) всех этих вскруживших голову дамам, их мужьям, старцам, девам и юношам неистовств — был Бальмонт.

Его солнце стояло тогда в зените. Французов, профильтровавшихся в русский символизм, как-то просмотрели, или просто не вчитались в них. Брюсов долго стоял одиноким колоссом, и такого рода популярность презирал и ненавидел.

А тут вдруг, как гонг, ударил свой отечественный лозунг: «Будем как Солнце!» Станем безудержным «воплощением внезапной мечты», насладимся всеми утехами «Зачарованного грота»⁹.

А «внезапности мечты» у людей пресыщенных, по всем статьям быта благополучных, в большинстве случаев совершенных бездельников, были иногда весьма многообразны...

Это желание непременно вылезти из кожи и «сладко падать с высоты»¹⁰, рожденное в тупиках мысли и чувства, в тупиках же и иссякало, но в общую атмосферу жизни вливало явно разлагающую струю.

Где-то уже явно слышались грозные гулы грядущего 1905 г., а над Москвой, утопающей в переутонченных причудах, в вине, в цветах, в экзотической музыке, стоял столбом мертвенно зеленый масленичный угар.

Подбор вошедших в моду литературных произведений и бешеный спрос на них являлись тоже знамением времени.

Возрос небывалый интерес к Оскару Уайльду, раскупили в миг «De profundis», «Балладу Редингской тюрьмы», «Портрет Дориана Грея» и «Саломею» — последние два очень дорогие «роскошные издания Грифа». Потребовалось буквально рынком новое издание «Цветов зла» и все до последней строчки Бодлера. «Номо sapiens» — изд. «Скорпиона» — стало новой моральной проповедью¹¹. Интерес к личной жизни новых писателей набухал пикантными сплетнями, выдумками, рассказами небылиц.

Маленькие газетные черберы — прихвостни старых толстых журналов и маститых авторов — вопили «караул» с эстрады Художественного кружка, поносили в лицо непристойными словами докладчиков враждебного лагеря. Очередные вторичные рефераты редко кончались без скандалов.

Но ничего не помогало. Унылое платоническое народничество и канитель житейского быта под разными соусами надоели читающей публике. Бессознательно жаждала она чего-то «нового», а это новое, да еще в извращенном понимании, ошарашивало воображение концепциями, формами, трепетными, раздражающими намеками символов.

Так — хаотически, скачками, среди карикатурных курьезов завоевывала свое место на страницах истории новая русская литература. Все эти нелепости отвалились потом, как отмороженные пальцы. Осталось крепкое стальное звено в цепи русской — и европейской — преемственной культуры, которое, как чернорабочий, начал одиноко ковать Брюсов. Умиравший, расползающийся по всем швам, разлагающийся быт отражал эту эстетическую сумятицу в самых комических подробностях.

Дамы, еще вчера тяжелые, как кули в насиженных гнездах, загрезили о бальмонтовской «змеиности», о «фейности» и «лунноструйности»; обрядились в хитоны прерафаэлитских дев и, как по команде, причесались à la Monna Vanna¹².

Кавалеры их и мужья приосанились, выутюжились à la Оскар Уайльд. Появились томно-напудренные юноши с тенями под глазами. Излюблен-

ным цветком стала «тигровая орхидея», впрочем, еще до Бальмонта увечевеченная пикантным Мопассаном как «грешный цветок».

За ассамблеями подавались рюмки и бокалы на тончайших и длиннейших хрупких ножках, гостиные раскорячились «стильной» мебелью отечественного изделия, на спинках диванов повисли лоскутки парчи, вошли в моду тусклые, линялые цвета, в употребление — слова: «нюанс», «аспект», «переживанье», «многогранность».

В те дни действительно «угрюмым магом» с высот «Метрополя» смотрел на этот «балаганчик» Брюсов, окруженный очень немногими друзьями, соработниками и почитателями, не пустившимися в пляс. Именно в те годы он, может быть, остро, как никогда, чувствовал потерю Ивана Коневского, на которого возлагал самые большие надежды и как на поэта и как на человека. Когда Брюсов говорил о Коневском, у него менялось лицо и он делался тем Брюсовым, которого так хорошо знала, может быть, одна я и которого так легкомысленно проглядел до конца Андрей Белый!.. Помню, в одну из наших совместных летних поездок Брюсов предложил мне поехать в «Ливонскую Швейцарию» (поблизости от Риги на берегу реки Аа), на могилу Коневского. Он не любил ни кладбищ, ни могил, и меня это желанье удивило. В жаркий июльский день стояли мы на берегу Аа. Чуть заметные воронки крутились на сверкающей солнцем и лазурью воде.

— В одну из таких втянуло Коневского, — сказал Брюсов, — вот в такой же июльский день... вот под этим же солнцем... Он был без бумаг, его схоронила деревня как безвестного утопленника и только через год отец случайно узнал, где могила сына...

Он стоял, отвернувшись от меня, и бросал камешки в воду, с необычайной чёткостью попадая все время в одну точку. Это бросанье камешков я видела потом много раз, — оно выражало всегда у Брюсова скрытое волнение и глубокую печаль.

Потом мы пошли на кладбище. Ах, ничего не потерял Ив. Коневской, если деревня похоронила его в этом пышном зеленом раю, как безвестного утопленника. Зеленым шумящим островом встало оно перед нами, — низенький плетень, утопающий в травах, — ни калитки, ни засовов, — только подвижная рогатка загораживала вход — и то, верно, не от людей, а от коров... Совсем у плетня скромный черный крест за чугунной оградой — на плите венки из увядающих полевых цветов, а над могилой, сплетаясь пышными шапками, разрастаются дуб, клен и вяз.

Брюсов нагнулся, положил руку на венки, долго и ласково держал ее так и оторвал несколько травинки от венка. Я знаю, что он очень берег их потом.

Ив. Коневского он вспоминал не раз в горестные минуты жизни. Кроме него, у Брюсова настоящих друзей уже не было никогда <...>

Большим пышным вечером чествовали приезд Блока в доме А. Белого, потом у нас — в «Грифе»¹³.

Брюсов, сам Блок, Бальмонт, Эллис читали стихи за чайным столом, за ужином. Но не богемный, а чисто светский характер носил этот вечер. Только А. Белый как-то боком, по-медвежьи или точно по кочкам ходил среди гостей в черненькой своей курточке. Иногда подходил и спрашивал: «Хорошо? Правда? Хорошо, что приехал Блок? Вам нравится Любовь Дмитриевна?»

В этот вечер сковались крепкие звенья той цепи, что связала потом в трагические узлы судьбу и жизнь некоторых присутствующих. Но только молодые сотрудники «Грифа» и аргонавты смотрели на Блока, восторженно ловя его каждое слово. Бальмонт, как всегда слишком занятый собой и уже с легкими признаками наступающего «одержанья», был с Блоком

почти высокомерен, Брюсов преувеличенно оживленно, но почему-то крайне сухо, говорил с ним о его книге, о стихах, о «Скорпионе» и т. п. Всех поразило чтение стихов Блока. На первый раз оно казалось почти топорным, монотонным, нагоняющим скуку. Все на низких однообразных нотах, точно при этом каждую строчку отбивал невидимый метроном. Но именно эта простота потом начинала неизъяснимо правиться, казалась органически связанной со всем его существом. <...>

Блок уехал. Аргонавты чутко насторожились, а мистерии все не осуществлялись. В те дни Белый даже как будто избегал аргонавтов. В душе его совершался бессознательный, но тягостный перелом. Подменялись смыслы, колебалась почва под ногами, наплывали тяжелые флюиды, стало пугать то «черное» начало, носителем которого он считал Брюсова. Запомнился мне необычайный отчетливо один вечер. В Художественном театре первый раз давали «Вишневый сад»¹⁴. Мы поехали вдвоем. Ощущение огромного личного счастья преображало все; все казалось значительным, необычайным, полным нового прекрасного смысла. Крупными горящими звездочками кружились снежинки вокруг фонарей. Белые гирлянды небывалых цветов свисали с деревьев. Милой, какой-то родной казалась спина у извозчика — скорбно согнутая спина вечного чеховского Ионы. В фойе — настоящий праздник искусства: вся литературная и артистическая Москва. Русский московский праздник, освященный традициями, тоже казался прекрасным, неповторимым.

Плохие почему-то только нам попадались — боковые — места в партере. Приходилось, глядя на сцену, вытягивать шею.

В антракте зал задвигался, зашелестел, зашумел, заблестал. Куда смотрел А. Белый с таким ужасом потемневшим синим взором?

— Смотрите? Видите?... Напротив, в ложе бенуара. *Он! Он* смотрит! Ах, как это плохо, плохо, плохо!

— Он? Кто?

— Валерий Брюсов!

Действительно, напротив, около самого барьера ложи, опустив вниз руку с биноклем, на нас пристально смотрел Брюсов. Точно сквозняком откуда-то подул. Не знаю почему, но сердце сжалось предчувствием близкого горя.

Мы очень официально раскланялись. Потом я напоминала этот вечер Брюсову. Он смеялся: «Вольно же вам было быть такими хрупкими, и еще верить в «сглаз».

В этот вечер неясно еще для меня Брюсов незримо вошел в мою жизнь, чтобы остаться в ней навсегда — вечно. <...>

Символистская эпоха была одной из неповторимых русских литературных эпох, потому что многими корнями своими она вращалась в назревающий катастрофический перелом русской жизни, отмеченный двумя грозными датами: 1905 и 1917 гг.

В романе «Хождение по мукам» А. Толстой описывает Петербург перед разразившимися событиями и разложение самых избранных интеллигентских кругов. На него была похожа Москва в 1903, 1904 гг. В стремлении общества что называется «вылезти из кожи» было бессознательное прощанье с бытом, все прелести которого людям, очертя голову, хотелось использовать до последних возможностей. Прогрессивная волна переживаемого момента в те годы не захватила широкую толпу. Деятельность же работников и созидателей, обставленная в высшей степени мрачными подробностями, проходила, конечно, подпольно и в тиши.

А на авансцене, словно накануне потопа, бесновались искривленные призраки, — люди никчемные, ничтожные, провозгласившие лозунгом «своей» жизни дурно понятое «самоутверждение».

А. А. БЛОК

Рисунок неизвестного художника.

Карандаш, 1900-е годы

Литературный музей, Москва



В пучине исторических событий, конечно, рождаются новые люди, новые ратоборцы будущего, — и они рождались уже тогда, но не на виду, не на глазах.

Что символические поэты и писатели тех лет стояли далеко от общест-венности, я думаю, за это их не должно упрекать. Может быть, не поднял-ся еще слишком высоко гребень волны. Но когда восстал «девятый вал», многие из них доказали на деле свою любовь к подлинной России. Но тог-да — да! — они были далеки от общественности и реагировали на проис-ходящее вокруг своеобразно, точно стремясь уйти из этого мира как мож-но дальше в какой-то манящий тайнами, загадками, обещаньями, намека-ми сверхчувственный мир.

Характерны стихи и романы Ф. Сологуба тех дней, — особенно «Навьи чары», примечателен вопль Бальмонта «Будем как Солнце!», «Огненный ангел» Брюсова — вещь, правда, задуманная давно, но написанная со страстным вдохновением именно в то время. Бесформенное мучительное мистическое чувство, живущее на дне души каждого художника, обостри-лось до мученья в целой плеяде писателей и выражалось в каждом соот-ветственно его индивидуальности: у Сологуба — в демонизме, у А. Бе-лого и отчасти у С. Соловьева как заостренная маниакально-религиозная идея, у Блока в туманном мистицизме «Прекрасной Дамы», в безудержном эротизме у Бальмонта. И у молодых: в общем порыве к тому, «чего нет на свете».

О Брюсове я бы сказала, что в душе его «зашевелился» «древний хаос» — его позвали заповедные цветущие сады его поэтической мечты, находящие-ся за порогом уютного семейного гнезда на Мещанской.

Стремление к чему-то небывалому, невозможному на земле, тоску души, которой хочется вырваться не только из всех установленных норм жизни, но и из арифметически точного восприятия пяти чувств — из всего того, что было его «маской строгой» в течение трех четвертей его жизни, — носил он в себе всегда.

Разве не стоном звучат эти строки:

Влеки меня, поток шумящий!
Бросай и бей о гребни скал,
Хочу тоски животворящей,
Я по отчаянью взалкал!¹⁵

А вокруг него, умильно посматривая на мэтра, бродили поэты с напечатанными рукописями, вокруг царствовала, несмотря на разнужданность карнавала, условность чувств и отношений, бродила в полудобрее и полужизне толпа знакомых и чужих.

«Взалкав по отчаянью», по гомерическим чувствам, которые всегда были единственным стимулом его творчества, он спустил с цепи свой «хаос» и швырнул себя в «поток шумящий» совершенно исключительных жизненных комбинаций.

Что же отметил тогда во мне Валерий Брюсов, почему мы потом не расставались 7 лет, влача нашу трагедию не только по всей Москве и Петербургу, но и по странам? Отвечая на этот вопрос, я ничего не преувеличу и не искажу. Он угадал во мне органическую родственность моей души с одной половиной своей, с той — *тайной*, которую не знали окружающие, с той, которую он в себе и любил, — и, чаще, люто ненавидел, с той, которую сам же предавал, не задумываясь, вместе со мной своим и моим врагам.

И еще одно: в то время как раз облекалась плотью схема «Огненного ангела», груды исторических исследований и материалов перековывались в пластически-прекрасную пламенную фабулу. Из этих груд листов, где каждая крохотная заметка строго соответствовала исторической правде, вставали образы графа Генриха, Рупрехта и Ренаты.

Ему были нужны подлинные земные подобию этих образов, и во мне он нашел многое из того, что требовалось для романтического облика Ренаты: отчаяние, мертвую тоску по фантастически прекрасному прошлому, готовность швырнуть свое обесцененное существование в какой угодно костер, вывернутые наизнанку, отравленные демоническими соблазнами религиозные идеи и чаяния (Элевзинские мистерии!..) ¹⁶, оторванность от быта и людей, почти что ненависть к предметному миру, органическую душевную бездомность, жажду гибели и смерти, — словом, все свои любимые поэтические гиперболы и чувства, сконцентрированные в одном существе — в маленькой начинающей журналистке и, наперекор здравому смыслу, жене С. Кречетова, благополучного редактора книгоиздательства «Гриф».

Ни одним из этих моих качеств я не горжусь. Многие из них отмерли с годами, некоторые прошли, как проходят в жизни каждого человека неминуемые детские болезни. Некоторые же не только укрепились, но ощутились как органическая основа души навсегда.

Тогда же все они цвели во мне пышным букетом и к тому же в прекрасной раме барственной жизни, где даже детали горя обставлялись эстетически.

И я нужна была Брюсову для создания не фальшивого, не вымышленного в кабинете, а подлинного почти образа Ренаты из «Огненного ангела».

Потому любопытство его, вначале любопытство почти что научное, возрастало с каждым днем <...>

Было это поздней ночью в каком-то трупобном переулке около Дорогомиловской заставы. Ледяной ноябрьский ветер свистал по пустырю, колослся налету замерзающий дождь. Глубоко пряталась в пухло-черных тучах маленькая хилая луна. Свет ее в грязных прорезах был мертвенно сер. По рывинам, по тоскливому бездорожью тянулись низкие досчатые заборы. «Золото и лазурь» задержались погребальной пеленой этой ночи, — навсегда...

— Вот видите, В. Я., — обступил ведь «сон глухой черноты» и уйти некуда, — нужно значит войти в него. Вы уже в нем, теперь я хочу туда же.

Он, конечно, знал, о чем я говорю. Под эту «декадентскую фразу» даже здесь, сейчас, я могла бы подписать простую, удобопонятную. Но тогда выражаться удобопонятно было не в моде.

Он знал, но все-таки мы еще не понимали друг друга.

Брюсов положил мне руки на плечи и посмотрел в глаза невыразимым взглядом:

— И пойдете? Со мной? Куда я позову?

С этой ночи мы, сами того не зная, с каждым днем все бесповоротнее вовлекались в «поток шумящий», который крутил нас потом 7 лет.

Наступала настоящая зима — с морозами, с запевающими на перекрестках белыми вихрями.

В наших излюбленных печальных и бесприютных местах, в Дорогомилове, в Девичьем монастыре, на Ваганьковском кладбище, в вымершем Петровском парке наметало сугробы. Тогда мы стали проводить дни в музейных и выставочных залах, а ночи в ресторанах — всего больше в ресторане «Метрополь».

Помню наш столик, — говорю «наш», потому что лакеи, включив нас в круг ночных забуддыг, как-то умели его освобождать к 11 часам. Он стоял около внутренней подъемной машины. Стекланный высокий ящик, разрисованный по изумрудно-морскому фону какими-то подводными цветами, медленно поднимался и опускался каждые пять минут. В нем просто-напросто возили пустые тарелки и привозили кушанья. Но в слегка затуманенном вином и музыкой мозгу возникали причудливые грезы о подводном морском дне, — качались полумертвые водоросли, они словно ждали утопленников, чтобы оплести их тела цепкими зелеными волосами, таращили глаза морские рыбы, шевеля радужными вуалевыми хвостами, дышали ядовито-жгучие подводные цветы...

Красный фрак дирижера неаполитанского оркестра развевался узкими фалдочками в синеватой ресторанной мгле.

Об этих ночах Брюсов писал:

Словно в огненном дыме и лица и вещи...

Как хорош, при огнях, ограненный хрусталь...

За плечом у тебя веет призрак злоеущий ...¹⁷

Но ни в концерты, ни в театры мы почти никогда не ходили, иногда разве, и то словно по наряду, на значительные премьеры. Серьезная музыка, да что, даже опера, наводили на него буквально сон. Самый сладкий, запретный и неприличный сон.

Какой-то новомодный режиссер Большого театра вывез почти все декорации для «Мадам Баттерфляй» из Японии¹⁸. Это было сенсационно, и вся почти Москва сбегалась слушать и смотреть. Мы тоже пошли. К концу первого акта В. Я. начал зевать, в начале второго просто заснул, а в конце его уехал на заседание Художественного кружка. «Братьев Карамазовых» я, благодаря ему, из двух представлений видела три четверти первого с грехом пополам¹⁹. А на «Жизнь человека», где я проплакала от поднятия занавеса до конца над «разбитой жизнью», он и совсем не пошел²⁰.

Современный театр его не удовлетворял. Он находил его обветшалым, слишком связанным с отжившими традициями. Даже Художественный тех лет. <...>

В 1905 г. покойный Врубель писал портрет Брюсова, находясь в психиатрической лечебнице д-ра Усольцева в Петровском парке в Москве. Щемящей безнадежной тоской над особняком шумели облетающие липы. В коридорах тоже тоска смертная. Помню, дверь была полуотворена в одну камеру. Кто-то сидел у стола, закрыв лицо руками, рядом стоял слушатель и уговаривал:

— Барин! скушайте котлетку...

— Голубчик, скучно мне, — отвечал голос на звенящих струнных нотах. И опять: — Да барин же, скушайте ж котлетку.

В одной из этих одиночных камер полуслепой, безумный Врубель писал портрет Брюсова — каменную легенду немислимых плоскостей, линий углов, — стараясь замкнуть в гранитном футляре — огненный язык.

Брюсов не любил этого портрета. Чуть наклоненная вперед фигура поэта отделяется от полотна, испещренного иероглифами. Все в ней каменно, мертво, аскетично — застывшие линии черного сюртука, тонкие руки, скрещенные и плотно прижатые к груди, словно высеченное из гранита лицо. Живы одни глаза, — провалы в дымно-огневые бездны. Впечатление зловещее, почти отталкивающее. Огненный язык, заключенный в теснящий футляр банального черного сюртука. Это страшно. Две стороны бытия, пожирающие друг друга, — какой-то потусторонний намек...

Портрет этот никому не понравился. Мы с Брюсовым тайно согласились его уничтожить — просто искромсать ножом, — совершенно по-скифски и совершенно не думая ни о вечности, ни об убытках мецената. Помешало одно непредвиденное обстоятельство: в тот вечер, когда мы, будучи своими людьми, могли свободно пройти в редакцию «Золотого руна» в отсутствие издателя, лакей Филипп напился и не отпер нам дверь. Потом пришла неудобная для действия неделя, и Николай Рябушинский, верно что-то учуяв в воздухе, портрет куда-то скоро сплавил. Где он сейчас, не знаю, но недавно видела репродукцию его здесь, в Берлине ²¹. <...>

В приемной «Скорпиона» и «Весов» в деловые часы стиль был строг и неизменен. Здесь более, чем где-либо, одна половина существа Брюсова жила своей подлинной жизнью.

Молодые поэты поднимались по лестнице с затаенным сердцебиением. Здесь решалась их судьба — иногда навсегда, здесь производилась строжайшая беспристрастная оценка их дарований, знаний, возможностей, сил. Здесь они становились перед мэтром, облеченным властью решать, судить, приговаривать.

Не только для Москвы и Петербурга, но тогда и для всей России две комнатки на чердаке «Метрополя» приобрели значение культурного центра, непоколебимость гранитной скалы, о которую в конце концов разбивались в щепки завистничество и клевета ортодоксальной критики.

Аристократизм «Скорпиона», суровая его замкнутость, трудность доступа в святилище, охраняемое «свирым цербером» (так говорили, конечно, шутя) — все это вместе относилось исключительно на счет Брюсова, и стена между ним и людьми росла <...>

«Острый, как иголка», сухой, недоброжелательный ко всем нам и, конечно, — хотя и несправедливо, — ко мне.

В те годы он был очень болен и постоянно подвергался каким-то операциям в кости верхней челюсти. Появлялся измученный, исхудавший, со свирепым выражением лица.

— Оставьте меня все! — говорило оно.



БРЮСОВ

Портрет работы М. А. Врубеля. Сангина, уголь, 1906
Третьяковская галерея, Москва

А Кречетов, ненавидевший Брюсова люто и всю жизнь, злорадно под-
сменивался:

— Совершеннейший волк! Глаза горят, ребра втянуло, грудь про-
валилась. Волк, да еще голодный, рыщет и ищет, кого бы разорвать!

Смешных легенд в те годы о Валерии Брюсове ходило множество, и все они почему-то окрашивались в один цвет: *черный*. Всего больше это-
му способствовали А. Белый и С. Соловьев. Ничего, кроме облика лубоч-
ного демона, не «узрел» А. Белый в личности Брюсова — глубокой, не-
исчерпываемой, неповторимой...

Будучи человеком бездонных духовных глубин, Брюсов никогда не
обнаруживал себя перед людьми в синтетической цельности. Он замыкался
в стили, как в надежные футляры, — это был органический метод его са-
мозащиты, увы, кажется, мало кем понятый.

Однажды, еще до нашего знакомства, в доме друга Брюсова — Ланга-
Миропольского я долго смотрела на портрет 20-летнего Брюсова. Пламен-
ные глаза в углевых чертах ресниц, резкая горизонтальная морщина на
переносье, высокий взлет мефистофельски сросшихся бровей, надменно
сжатые, детские нежные губы.

Власть и обреченность на суровый жизненный подвиг. Вспоминая тот портрет сейчас, я читаю запечатленные строки:

Ты должен быть гордым, как знамя,
Ты должен быть острым, как меч;
Как Данту, подземное пламя
Должно тебе щеки обжечь²².

Он подставлял лицо и душу палящему зною пламенных языков и, сгорая, страдая, изнемогая, всю жизнь исчислял градусы температуры своих костров. Это было его сущностью, подвигом, жертвой на алтарь искусства, не оцененной не только далекими, но даже и близкими, ибо существование рядом с таким человеком тоже требовало неисчислимых (и, хуже всего, не *экстатических*, а *бытовых*, *серых*, *незаметных*) жертв.

Для одной прекрасной линии своего будущего памятника он, не задумываясь, зачеркнул бы самую дорогую ему жизнь.

Фанатиком, жрецом, священнослужителем искусства прошел Брюсов сквозь жизнь, и в этом одном была его органическая сущность.

Мало кто знает сейчас действительно, как жил Брюсов в дореволюционные годы. Он был странно охвачен страстью общественной деятельности, совершенно беспартийно, и также в этот тусклый костер бросал немалую часть себя. Художественный кружок, рефераты, заседания, суды чести, участие в художественных президиумах, редакция «Скорпиона», «Русской мысли» — в те годы все это поглощало у короткого вообще человеческого дня часы и часы. Он писал стихи на почном, на «вечернем асфальте», они высекались в его памяти, как на медной доске, он писал их в трамваях, на извозчиках, в коридорах общественных учреждений, за ужинами, на вернисажах.

У него не было ни одной записной книжки (у Бальмонта от них топорщились карманы). Иногда приходил и говорил:

— Скорей! Садись, запиши, я потом *«сделаю»*.

Это слово я подчеркиваю. Капризное экстатическое вдохновение, управляющее, например, всей поэтической сущностью Бальмонта, Брюсов считал лабораторным процессом, о котором никто не должен знать, пока строфы и рифмы, обработанные на чернорабочем станке, не получали ковкость и звонкость металла (<...>)

Недавно я спросила одного молодого поэта:

— Каким представляет себе ваше поколение Брюсова в реальной жизни?

— Размеренным, конечно, методичным...

Рассказывают, например, что он писал стихи, запираясь, как в башне, у себя в кабинете, требуя вокруг абсолютной тишины, писал по хронометру — «от такого-то до такого-то часа...»

Смешно, но так думали и думают многие! Никто, вероятно, не скажет этого про Бальмонта! (<...>)

Знаменитые строчки Бальмонта:

Нам правятся поэты, похожие на нас,
Священные предметы, дабы украсить час,²³ —

Брюсов приводил как яркий и комический пример поэтического «соловьиного пения», где не требуется «работы», упорной, часто ювелирной, часто скульптурной, часто философской. Но *когда* он работал, поглощая тома материала для предварительных исследований, — я не знаю, как успевал с такой внешней легкостью выбрасывать в печать тома стихов и прозы — это для меня до сих пор тайна (<...>)

Бог знает, какой сумбур в характеристику Брюсова вносит А. Белый в «Воспоминаниях о Блоке»²⁴.

А в Москве были и такие, что на первом плане отмечали обывательски-буржуазные черты его жизни.

На многое *и я* смотрела с грустью...

Но только теперь, через годы, после смерти, глубокий смысл открылся для меня в его полущутливых, не раз повторяемых словах:

— Ах, позволь мне иногда быть маленьким, маленьким и в это время уходить. Позволь мне иногда прятаться «в коробочку». Я так устал быть всегда «большим».

Да, я, конечно, не могла бы играть с ним и его родственниками по воскресеньям в преферанс по маленькой, чистить щеткой воспетый двумя поколениями поэтов черный скюртук, печь любимые пироги, варить кофе по утрам, составлять меню обеда и встречать его на рассветах усталого, сонного, чужого. Для всего этого нужна была «коробочка» — стиль. Жизнь жены его, полная незаметных, но, вероятно, колоссальных бытовых жертв, не будет воспета литературными историками и не запламенеет в вечности самоцветами терновый венок ее.

Ах, слишком долго, с маской строгой,
Бродил я в тесноте земной... ²⁵

Годы, о которых я пишу, были годами расцвета таланта, сил и общественно-поэтической деятельности Брюсова. Он приступил тогда к печатанию сборника «Stephanos» — запечатленному в «Последних мечтах» пышными строками:

Когда ж в великих катастрофах
Наш край дрожал и кликал Рок, —
Венчая жизнь в певучих строках,
Я на себя взложил «Венок» ²⁶.

Жизнь венчала его истинной славой и признанием, и именно в те дни слагалась его ложная легендарная характеристика. Будет ли она исправлена, разъяснена после смерти, — не знаю.

Увидавшись с А. Н. Толстым здесь, в Берлине, спросила:

— Ну, а что же Брюсов? Расскажите.

Экспансивный и жизнерадостный Толстой сделал безнадежный жест.

— О чем с ним говорить-то? Сидели рядом за столом, «заседали», обсуждали вопрос о писательских пайках.

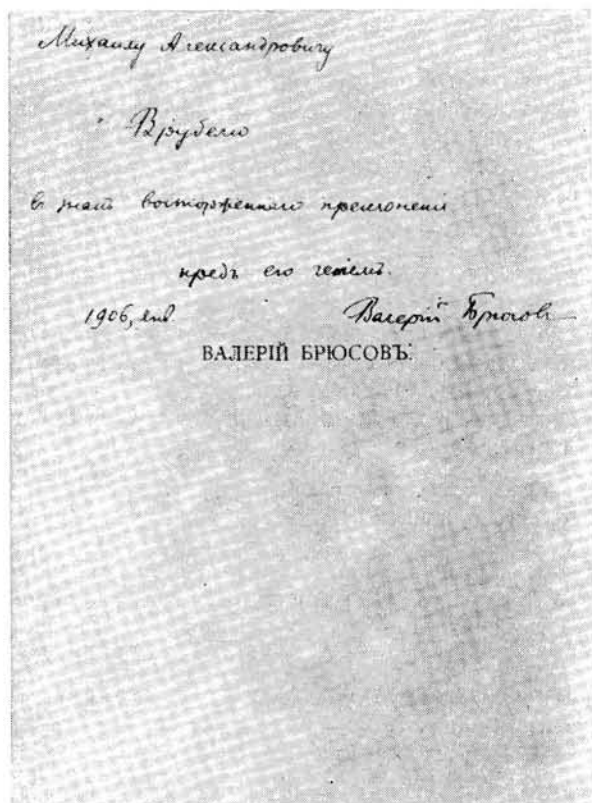
Толстой повел плечами, как в ознобе:

— Холод какой-то вокруг Валерия Яковлевича. Даже физический, могильный какой-то! Больше не встречались...

Так рассказывал о Брюсове последних лет А. Н. Толстой — человек чуткий, хотя и далекий ему, но все же не чужой. За «маской строгой» и он ничего не прозрел.

Но не виню в этом А. Н. Толстого, встретившего Брюсова за два года до смерти — верно, полубольного, на 50-й весне. Вероятно, как никогда, загородившегося «стилем». Но и в те баснословные наши годы, когда имя его было окружено ореолом славы, никто не подошел к его сущности верным путем.

Литераторы, особенно петербургские, критика, публика, просто знакомые, — все без исключения, сделав схему из его подлинных же черт, рассматривали в Брюсове какого-то «бумажного», бесплотного человека. Молодые поэты, талантливые и бездарные, перед ним почтительно преклонялись, принимали каждое слово его за схоластическое откровение, расшифровывали, споря до пота, каждую строчку его поэзии, как некие замысловатые профессиональные ребусы, падали ниц перед его «мастерством», но... в редакцию «Скорпиона» шли, как на казнь.



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ
НА СБОРНИКЕ «СТЕРHANOS»:
Михаилу Александровичу Врубелю
в знак восторженного преклонения
пред его гением.
1906, янв. Валерий Брюсов»
Библиотека СССР
им. В. И. Ленина, Москва

Было, конечно, больно, когда анатомически-расчленяющий нож вонзался в живое тело. Было очень больно, и боль казалась незаслуженной, потому что не понимали *отчего* и *зачем* эта мука и *какой властью* терзали их Брюсов.

Помню эстетизирующего новеллиста-петербуржца С. Ауслендера, свалившегося однажды в Москву, как лягушка в чужое болото. В оливковой суконной рубашке до пят, без пояса с белым воротником «à la Робеспьер», с локоном, свисающим до кончика носа.

От «инквизиционной пытки» «Весов» он пришел отдыхать в «Перевал» под гостеприимный кров С. Кречетова. И в «Весы» не вернулся. Инквизитор от литературы, схема, картонный манекен, начетчик, маг, волхв, звездочет, «одержимый», маниак честолюбия и величия, в общении человек трудный и тяжелый, ядовитый, колющий, как игла, — так покончило с личностью Брюсова общественное мнение, так поставило на нем штамп...

Для петербуржцев (да простится это и покойному А. Блоку!) литературная Москва казалась царством Брюсова, очень неприятной «монархией», царством «ежовой рукавицы». А в Москве уже маститый, на всех перекрестках признанный Брюсов, председатель Художественного кружка, член многочисленных обществ, член суда чести, arbiter художественного вкуса — считался каким-то дальнобойным колоссальным крепостным орудием, официальной военной позицией и... консервированным, замаринованным в строфах, томах, трудах — сухарем. Жертв его никто не понимал и не принимал. И его никто не любил. <...>

Жизненные встречи его были лишь профессионально-социальными отношениями, лучше сказать, — «клише» отношений, семейная жизнь его — фикция — привычный отель с мягкой постелью. Всю боль раздвоенности,

весь огонь чувств, всю трагедию свою он укрывал под «маской строгой».

Вечно повторяющиеся слова его стихотворений — фатальные, знаменательные, исчерпывающие — проходили мимо внимания современников не отмеченными или назывались «реторикой».

— Ну что общего у этого манекена в черном сюртуке со «страстью», «отчаянием», «безумием», «алчбой», «трепетам» и «гибелью»?

Было признано в 1905 году пресловутое *бальмонтское безумие*, возникающее на дне третьего стакана. Бальмонт «творил из жизни поэмы» по кабакам и канавам арбатских переулков, а Брюсов в это время «заседал», копался в архивах и «рыскал по оккультным подозрительным произведениям», собирая материалы для «Огненного ангела» (в кавычках фраза А. Белого из «Воспоминаний о Блоке»). А. Белый писал о нем чепуху и смущал отдаленного, в себе замкнутого Блока; Сергей Соловьев гомеически, чисто по-соловьевски им упивался лишь как поэтом; Ходасевич, прекрасный друг моего прошлого, ядовито эстетически «наблюдал». За столами, крытыми зеленым сукном, стояли его троны, стояла уже перед ним на задних лапах реакционная критика, дамы заучивали наизусть его строчки, редакции по-лакейски распахивали двери, толпа при его появлении в публичных местах смущенно замолкала. Пышный «Stephanos» короной венчающей ложился на его голову, а Валерий Брюсов как человек оставался мифом, провинциальной легендой на демоническую тему, сочиненной А. Белым. (...)

ИЗ ПИСЕМ БРЮСОВА К ПЕТРОВСКОЙ

(1906—1909)

«Москва.» 27 мая 1906

Мне нужно какое-то воскресение, какое-то перерождение, какое-то огненное крещение, чтобы стать опять самим собой, в хорошем смысле слова. Куда я гожусь *такой*, на что нужен! Машинка для сочинения хороших стихов! Аппарат для блестящего переложения poem Верхарна! Милая, девочка, счастье мое, счастье мое! Брось меня, если я не в силах буду стать иным, если останусь тенью себя, призраком прошлого и неосуществленного будущего. Неужели в 32 года пережил я всю свою жизнь, обошел весь круг своих возможностей? Я столько смеялся над Бальмонтом, неужели же я на себе испытаю его участь?

«Москва.» 2 июня 1906

Состояние души моей не улучшается, а делается все хуже и хуже. Чувствую полное бессилие. Мой верный термометр, мое стихотворное творчество, упал очень низко: со дня твоего отъезда я не написал ни одного стиха. Да и вообще с января я вряд ли написал больше десяти стихотворений, очень умеренного достоинства. Перестать писать стихи для меня совершенно равносильно духовной смерти. А я перестал писать стихи. Ты пишешь мне: работай. Я ничего не могу работать. С большим усилием над собой делаю я кое-что по библиографии для нового издания Пушкина, затеянного Брокгаузом; больше ни на что не способен...

5 июня 1906. Москва

При всех своих падениях и замираниях, в общем я жил жизнью очень напряженной, если (не) во внешнем, то во внутреннем. Все сделанное мною (а кое-что мною сделано-таки) досталось мне вовсе не даром. И вот настал час, день, когда идти дальше по той дороге, по которой я шел, некуда. «Urbi et Orbi» дали уже все, что было во мне. «Венок» завершил мою

поэзию, надел на нее воистину «венки». Творить дальше в том же духе — значило бы повторяться, перепевать самого себя. Это может Бальмонт, а этого не могу. И вот, в этот страшный час распутия, ты мне говоришь о любви, о нежном счастье. Я должен все силы своей души направить на то, чтобы сломать преграды, за которыми мне откроются какие-то новые дали, — чтобы повернуть своего коня на новый путь. У меня сейчас не может быть сил ни на что другое. Приди ко мне с волшебным жезлом, открывающим эти новые пути, — и я пойду за тобой. Ах, то воистину должен быть волшебный жезл, воистину новые слова: не слова о безумии, которые я сам говорил слишком часто, не слова о нежном счастье, которое хотя — и на миг — мы изведали с тобой вместе, и уж конечно не слова из революционного словаря, годные для младенцев вроде твоего Сережи. Есть какие-то истины — дальше Ницше, дальше Пшибышевского, дальше Верхарна, впереди современного человечества. Кто мне укажет путь к ним, с тем буду я.

10 июня 1906, Москва

Есть два круга вещей, о которых мы никогда или почти никогда не говорим с тобой: один очень «низкий», другой очень «высокий». Это — обычные деления, не мои; сам я не делю вещи на «высокие» и «низкие», — мне все кажется равными, равно важными, равно достойными. Но медленно и систематически ты не давала мне заговаривать о многом и свела все наши разговоры к одной теме: нашей любви. Вот почему мне так трудно теперь ответить на твое последнее письмо (письмо милое, хорошее, желанное — я уже сказал). Мне придется начать издали. Мне придется (и это прости мне) вызвать несколько воспоминаний этой зимы, мучительных, — одни для тебя, другие для меня. Но ведь надо же высказаться; ведь многое мы посмели сказать друг другу; останемся смелыми!

Думаешь ли ты, что я забыл, что ты не стала читать моей последней книги? Знаю, все знаю, все помню. Но то был жестокий удар для меня. Ты не знаешь, сколько нитей оборвала ты тогда между моей душой и твоей... Но это было только начало. Ничего из того, что я писал после, не пришлось тебе по душе: ни новые мои стихи, ни рассказы, ни статьи. Тебе все это не нравилось или по крайней мере нравилось далеко не так, как многое в моих прошлых книгах. Возможно, что ты права; возможно, что я пишу хуже, чем прежде. Но ведь мне-то эти мои стихи, рассказы, статьи — дороги; я-то ведь не считал их плохими! И опять и опять обрывались нити между нашими душами. Но вот однажды я заговорил с тобой вообще о поэзии, о том, о чем сам с тобой я говорю всегда. Это было, помнишь, днем, на бульваре... Я испугался той пропасти, которая оказалась между нами. Ты подняла руку на самые заветные мои убеждения, оскорбила самые святые мои верования. И опять-таки возможно, что права ты, а я не прав. Возможно, что в искусстве высказываемые мысли важнее, чем художественное значение произведения. Но я-то ведь в это поверить не могу! Для меня-то ведь единственным мерилom в поэзии (а впрочем и везде, во всем) останется художественность. Мне, художнику, партийная нетерпимость кажется вздорной²⁷, а оскорбление прекрасного стиха — оскорблением моего божества. И после того дня последние нити, связывавшие нас в том мире, оборвались, и я стал думать, что мы с тобой там — чужие. Ибо никогда, никакие мучительства жизни, никакое изнеможение не убьет и даже не притупит в моей душе поклонения поэзии. Я могу утратить способность писать стихи, но не могу перестать упиваться ими. Отказаться читать книгу любимого поэта из-за личных отношений; бранить стихи, потому что не согласен с высказываемыми в них мыслями, — это для меня столь же невозможно, непонятно, чуждо, как ощущение иного, нежели я, существа. И когда ты обращаешь ко мне такие слова, прекрасные, пьянящие, увлекающие, как в последнем письме, мне хочется вырваться из

их опьянения, из их соблазна, и сказать тебе: Да полно? да разве мы не чужие здесь? разве мы не враги здесь?

Нина! Нина! Ты знаешь меня и знаешь, что я много лицемерю: жизнь приучила меня притворяться. И в жизни, среди людей, я притворяюсь, что для меня не много значат стихи, поэзия, искусство. Я боюсь показаться смешным, высказываясь до конца. Но перед тобой я не боюсь показаться смешным, тебе я могу сказать, что и говорил уже: поэзия для меня — *все!* Вся моя жизнь подчинена только служению ей; я живу — поскольку она во мне живет, и когда она погаснет во мне, умру. Во имя ее — я, не задумываясь, принесу в жертву все: свое счастье, свою любовь, самого себя. Но в том мире я всегда был одинок, и ты не отучила меня от этого одиночества. Прислушиваясь к ласкательным словам твоего письма, но не знаю, где найти в душе своей веру в них. Было время меня хулили *все*; теперь меня хвалят журналы. Но, должно быть, у меня еще не было читателей. Мои читатели еще носятся «по небу полуночи» в объятиях ангелов. С моими читателями мне не придется говорить. С ними будут говорить только мои книги.

⟨Москва.⟩ Ночь с 13 на 14 июня 1906 г.

Когда это началось? Давно, о давно! Теперь я начинаю думать, что еще до моей встречи с тобой. Вероятно к тому времени, когда я закончил «Urbi et Orbi». Что-то было изжито. Какой-то рудник, который другому мог хватить надолго, был мною исчерпан, потому что я не разрабатывал его, а грабил. Я выхватывал из него слитки и губил золотоносные жилы. И вот — слитков более не оказалось. Оставалось или искать новой шахты, или заняться пересмотром ранее отброшенного, ранее отвергнутого, как менее богатого. Помню, верно помню: я переживал тогда именно то, что и теперь: изнеможение, бессилие, неспособность к творчеству, желание убежать, скрыться, утаиться, чтобы меня не заставили думать, действовать, а прежде всего *чувствовать*. Помню, было уже совсем решено, что я уеду на год в деревню. Даже велись уже переговоры с неким Ачкасовым, чтобы снять какое-то имение... И вдруг пришла — ты, как что-то новое, неожиданное, несбыточное, о чем мечталось давно и что вдруг осуществилось. Пришла любовь, о которой я только писал в стихах, но которой не знал никогда; пришла женщина, о которых я только читал в книгах (в твоём Шибишевском), но не видал никогда. Ты мне часто говорила, что тот год был воскресением для тебя; но он был и для меня воскресением. У меня вдруг открылись глаза, сделались в сто раз более зоркими; в руках я почувствовал новую силу. Я вдруг увидел вокруг вновь сокровища, которых мой прежний взор не различал; получил возможность разбивать такие таящие золото камни, на которые прежде не смел поднять руки. Я сказал себе: «Безумец! ты считал себя нищим! но смотри! видишь! твой рудник еще полн богатством! бери лом, заступ, добывай, торжествуй!» Ты знаешь, что я это сделал. Я собрал снова целую книгу золотых слитков, там, где, казалось, не было ничего, кроме песка и осколков камней... Но я ошибся. Рудник мой был все же уже опустошен. Скоро, очень скоро поднял я последнюю блестку, — и вот опять стою в пустоте, в разоренной, опустошенной шахте...

Длинное это сравнение я не выдумал: оно пришло само на мысль и оказалось совпадающим с жизнью во всех мелочах. Два года назад я был в своей душе слепым нищим; теперь я зрячий нищий — в этом вся разница, и только (или почти только) в этом. Я не могу более жить изжитыми верованиями, теми идеалами, через которые я перешагнул. Не могу более жить «декадентством» и «нипшеанством», которые верю я, верю — и тебе уже чужды, хотя ты и говоришь иное (тоже из желания противоречий? да?); в поэзии не могу жить «новым искусством», самое имя которого мне

нестерпимо более. Хорошо Мережковскому, который перепархивает с пушкинианства на декадентство, с декадентства на язычество, с язычества на христианство, с христианства на религию троицы или духа святого. Ты когда-то сказала, что я по душе — инок, монах, в средние века я пошел бы в монастырь. Да! да! Я должен верить в то, чему служу, совсем, до конца, и должен служить чему-то. Я притворяюсь скептиком, но

Тяжелый труд нам кем-то дан,
И спросит властно он отчета... 28

Так, как сейчас, я не могу жить: без бога, без алтаря. И не могу поставить себе «какого-нибудь» бога, наскоро смастеренного, чтобы только было перед кем возжигать фимиамы.

Висби, 27 июня 1906, с. с.

Дней десять как я уехал из Москвы, и за это время я не написал тебе ни строчки <...>

Есть в Балтийском море остров Готланд; низменный, плоский, известковый. В средние века на нем был могущественный город Висби. В XIV веке датчане взяли его приступом и разрушили до основания. Он никогда не мог оправиться. Теперь это груды торжественных и величественных развалин — стен, храмов, дворцов, — в которых ютятся жалкие хижинки современных жителей да десяток домов новой архитектуры: гостиницы, банки, казармы... Над городом почти южное солнце. Кругом чахлая, хотя и тщательно поддерживаемая, растительность. По улицам, по дорогам, везде кругом — столбы, вихри, тучи известковой пыли. Пыль покрывает деревья сероватой пеленой; пыль закрывает небо; пыль осыпает идущего с ног до головы; пыль набивается в нос, в рот, в глаза, душит, слепит... Остается только одно: бежать к морю, к самому морю, на прибрежный камень, и там под яростным солнцем, но под свежим веяньем из дали — лежать и смотреть в безбрежность <...>

Я испытываю омертвление души, словно она — мертвая, а жив я без нее. Я вижу море, на которое когда-то мы смотрели с тобой, на которое когда-то я смотрел детски-дерзкими глазами, и вспоминаю и помню, какой жизнью, каким трепетом наполняло оно меня! Ведь оно не изменилось, ведь оно то же, мощное, великое, прекрасное, как в мою юность, как в дни юности мира: почему же нет этой юности, мощи и красоты во мне! Разве я не хочу быть молодым? разве я не хочу быть красивым? Но моя душа — бессилие, прах, тлен, переживание прошлого, отживание последних зеленых листочков. Но неужели же мне в жизни лежать упавшим деревом, над которым будут свиваться молодые лианы и разрастаться новые побеги?

Saint-Jean-de-Luz, 2 octobre 1908

Что до меня, я все еще ни за что не принимаюсь. Перевожу, понемногу, скучную и риторическую «Елену» (однако II и III акты гораздо выше I)²⁹; написал какую-то статейку в ответ критикам (для тебя ничего нового); перебираю и раскладываю по отделам свои старые стихи (новых не пишу). Без малейшего преувеличения мне начинает казаться, что для меня самое лучшее бросить всякие попытки к «творчеству». Буду я мирно жить в стороне от большой дороги литературы; критики не будут меня ругать последними словами; издатели журналов и альманахов перестанут, с ножом у горла, спрашивать с меня статей: не райское ли житье? И я буду, как ветеран, удалившийся со службы, поощряя молодежь на новые под-

Н. И. ПЕТРОВСКАЯ
 Фотография, 1914
 Собрание Н. В. Котрелева, Москва



виги или, что чаще бывает, брюзжать по-старчески на всякое новое начинание...

Прости, что серьезные слова у меня свелись на шутку; но обо всем этом мне тяжело говорить только серьезно.

Москва, 8/21 ноября 1903

За эти четыре года целые миры обрушились в наших душах. Что в них осталось прежнего? — Только те стихии, из которых они созданы. Не прежними <мы> должны быть, а новыми. Не в прошлом и не прошлым надо нам жить: в настоящем и современностью. Надо смело смотреть в глаза судьбе, которая ведет, влечет нас, заставляет нас изменяться и все изменяет вокруг нас. И вот в этих переменах и изменах оставаться всегда близкими друг к другу, вечно и непобедимо, роковым образом связанными — вот чего я хочу и ищу. Если твои слова «я та же, как 4 года назад» значат, что ты по отношению ко мне та же, что ты так же влечешься ко мне, как тогда, — я эти слова приветствую, благословляю их, благодарю за них. Но если ты хочешь сказать: «я все „та же“, я не изменилась, мои чувства, желания, ожидания не изменились», — мне придется опустить голову и сказать тихо: но я — изменился, но я — не тот же, и не могу стать прежним, на четыре года уйти назад <...>

Но я, наконец, узнал себя, понял (как начинают, увы! узнавать, понимать эту мою особенность и гг. литературные критики!) Да, я могу любить глубоко, быть верным в лучшем смысле слова, но я не могу, не способен — отдаться любви, броситься в нее, как в водоворот, закрыть глаза, дать стремить себя потоку чувства. Я знаю, я верно знаю, что это и есть «то, что люди называют» счастьем. Но я уже не ищу счастья, не жду его, и мне его не надо. К иному иду я, не знаю, большому или меньшему, но к иному. Таким я стал (хотя я в сущности таким всегда и был), таким надо принять меня теперь, ибо иного меня — нет <...>

Ты спрашиваешь меня, приеду ли я в Париж. Вот точный, искренний и подробный ответ.

Здесь, в Москве, нашел я страшный разгром всего того дела, которое привык считать своим. «Весы» медленно погибали и должны были прекратиться к январю. Все враждебные нам и мне партии подняли голову. «Руно» было сильно как никогда. Г. Чулков выпустил книгу статей, направленных против нас³⁰. Возникло 3 или 4 журнала, явно нам враждебных. Все газеты были против нас. Крохотный кружок, уцелевший около «Весов», явно распадался. Белый, конечно, тянул куда-то в сторону. Эллис тоже. Даже во внешнем, при первых столкновениях, я тотчас увидел, как все повернулось к нам враждебной стороной. Где прежде я имел абсолютный вес, меня слушали только из вежливости. Не буду рассказывать разных фактов. Довольно одного. В члены нашего Литературно-художественного кружка баллотировалось трое сотрудников «Весов» — М. Ф. Ликиардопуло, Эллис, М. Шик. Все трое большинством голосов были *забаллотированы*.

Я много раз говорил тебе, что «Весы» мне надоели, что я хотел бы отказаться от заботы об них. Но видя такое неожиданное и стремительное крушение всего, что я делал в течение пятнадцати лет; видя, как внезапно все значение, вся руководящая роль переходит в литературные течения, мне и моим идеалам враждебные; видя, как торжествуют те, кто, в сущности, обокрал меня и моих сотоварищей, — я не мог не изменить решения. Я не могу еще сложить руки и сказать: вот я, берите меня, грабьте мое добро и топчите меня ногами. Я могу уйти в сторону, когда положение обеспечено, но сделать это именно в час разгрома — и нечестно и нестерпимо для меня. Я решил бороться во что бы то ни стало. Я решил в 1909 г. так или иначе, но издавать «Весы» или другой журнал и удерживать за своими идеями в литературе то место, какое им надлежит.

Ты понимаешь, это такое *положение* * требует с моей стороны сейчас величайшего напряжения энергии. С. А. Поляков — за границей и продолжать «Весов» не хочет. Другого издателя нет. Все друзья и союзники готовы продать и «Весы» и меня за 30 серебрянников или и дешевле. Чтобы снова все сплотить, все устроить, все повести — надо не выпускать возжей и нитей всяких интриг ни на минуту. И вот я в самом таком разгаре всяких неизменнейших дел и отношений, в которых снова задыхаюсь, как в душной тюрьме, но бросить которые не могу, не хочу, не должен. И ты понимаешь, что, даже при успехе, месяца два-три, пока не наладится все опять, — у меня не будет возможности покинуть Россию на долгое время.

«Москва. Ноябрь 1908 г.»

... Возвращайся в Париж, но не как в проклятое место ссылки, а как в город прекрасный, многообразный, близкий всем, кто чувствует жизнь, жизнь прошлую и настоящую. Возвращайся в Париж — живою, не мертвой! Не для того, чтоб что-то отыскивать, но чтоб открыть душу новым впечатлениям <...>

Ты помнишь, я несколько раз говорил тебе: «необходимо, чтоб у тебя была цель в жизни вне меня». Мне до сих пор это кажется самым верным определением того, чего не достает тебе. Да, прекрасно, если двое ставят всю цель своей жизни друг в друге — как Паоло и Франческа. Бывало я заклинал свою судьбу:

О дай мне жребий тот же выпуть! ³¹

* В автографе ошибочно: напряжение

ПЕРВАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ РОМАНА
«ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»

Начало романа с заставкой
Мориса Дени
«Весы», 1907, № 1

ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ

ИЛИ ПРАВДИВАЯ ПОВЕСТЬ, ВЪ КОТОРОЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ
О ДЬЯВОЛѢ, НЕ РАЗЪ ЯВЛЯВШЕМСЯ ВЪ ОБРАЗѢ СВЯТАГО ДУХА
ОДНОЙ ДѢВУШКѢ И СОБЛАЗНИВШЕМСЯ ЕЕ НА РАЗНЫЕ ГРЕ-
ХОВНЫЕ ПОСТУПКИ, О КОТОРЫХЪ ЗАНИМАЮТСЯ МАГІЕЙ,
АЛХИМІЕЙ, АСТРОЛОГІЕЙ, КАБАЛАСТИКОЮ И НЕКРОМАНТИЕЙ,
О СУДЬБѢ НАДЪ ОЮЮ ДѢВУШКОЮ ПОДЪ ПРЕДСѢДТЕЛЬСТВОМЪ
ЕГО ПРИХОДОУ АРХІЕПИСКОПА ТРИРСКАГО,
А ТАКЖЕ О ВСТРѢЧАХЪ И БЕСѢДАХЪ
СЪ РЫЦАРЕМЪ И ТРИЖДЫ ДОКТОРОМЪ
АГРИПОЮ ИЗЪ НЕПТЕСГЕЙМА
И ДОКТОРОМЪ ФАУСТОМЪ,
НАПИСАННАЯ
ОЧЕВИДЦЕМЪ.



ПРЕДИСЛОВІЕ
РУССКАГО ИЗ-
ДАТЕЛЯ. ♦ ♦ ♦ ♦

Предлагаемая читателямъ
повѣсть XVI вѣка дошла до
насъ въ единственной рукописи,
находящейся въ книгѣ въ частныхъ ру-
кахъ. Ея издѣлѣніе, — благодаря лю-
безности котораго мы имѣемъ возмож-
ность обнародовать русскій переводъ ра-
нѣе позволенія въ печати подлинника, — имѣе-

Но мне этот жребий не выпал, теперь уже нельзя сомневаться. Могу о себе сказать теперь другими словами, словами моего Одиссея:

Я — доброволец меж рабов... ³²

Но та, кому я рабствую, это все же божество, ибо ее имя — моя поэзия.

⟨Москва.⟩ 22 дек./4 января 1908—9 г.

Во всяком деле есть две стороны: внутренняя и внешняя, душа и техника. Не решаюсь ничего говорить тебе о лучшей, о истинной стороне той работы, которую ты могла бы взять на себя. Я верю, что если ты захочешь писать и напишешь то, чем будешь довольна сама (хотя бы сколько-нибудь, ибо никто из нас никогда не бывает вполне удовлетворен сделанным им), ты мне первая скажешь об этом. Но о второй, внешней стороне — я себя считаю вполне вправе говорить. Я всячески советую тебе — не презирай ее, не отвергай. Работай хотя бы уже только потому, что работа — дисциплина души, какой-то механической силой вносящая в душу стройность, гармонию. Я это испытывал лично так много раз, что смею сказать тебе, повторить тебе старое слово из детских прописей: работай!

⟨Москва.⟩ Декабрь 1908 — Январь 1909.

Ты говоришь, что в том уединенном городке «можно будет работать», но, конечно, сама понимаешь, что это — слова без содержания. Французской писательницей ты никогда не станешь, сколько ни изучай француз-

ский язык; русской писательницей нельзя быть, живя в глуши французской провинции, отрезанной от всех центров русской жизни. <...>

Скажу прямо и просто. Я всегда думал, что твоя жизнь за границей будет лишь *временной*, что *жить* ты вернешься в Россию. По глубокому моему убеждению жить русскому человеку, а особенно русскому писателю, возможно только в России. Россия нам нужна как наша стихия: вне ее мы временно дышим даже бодрее, словно в атмосфере, где более кислорода, но потом задыхаемся и жаждем вернуться в родной воздух. Вспомни последние годы Тургенева и его томление вне России. Прочти последнюю книгу Бальмонта (которую я тебе посылаю)³³ и особенно его поэму «В белой стране». Ты увидишь, поймешь, что значит быть без России, без той России, которую все мы клянем и клеймим последними словами. Я всегда думал, что ты в Россию *вернешься*.

⟨Москва.⟩ 4 янв<аря⟩ 1909

Начать «новую жизнь» можно только восходя на *высшую* ступень лестницы. Душа или идет *вперед* или погибает. Это — закон. Движение остановившееся равно смерти. Кто хочет жить, того сила самосохранения заставляет становиться прекраснее, выше, благороднее. Совершенствование не моральное требование, но внутренняя потребность духовного организма. Наступает миг, когда путь перерезается пропастью. Нельзя идти в сторону или назад, должно обрести крылья и лететь.

⟨Москва.⟩ 12/25 янв<аря⟩ 1909

А музеи ты все-таки посети: право, стоит. Хотя бы Лувр и Люксембургский. Все же там собраны создания единственные, которых дважды человечество не создает. Заставь себя встать раньше 9 и поезжай. Я не верю, чтобы было такое состояние души, которого не преодолееет нежная ласковость фресок Боттичелли (на лестнице Лувра) или роскошь Веласкеса. Сделай это для меня, — очень прошу.

⟨Москва.⟩ 19 janvier 1909

Тебе необходимо вновь изменить жизнь, решительно и, на этот раз, окончательно. *Волю* к этому ты должна найти в самой себе, ибо нигде больше этой воли обрести нельзя. Жить тебе надо в России, ибо ты — русская, ибо ты — русская писательница, ибо в России живу я. Жизнь твоя должна быть деятельной, ибо без деятельности нет жизни, и деятельностью твоей должна быть литература, ибо у тебя есть на это права и все данные.

За каждым из этих итогов, за каждой из этих мертвых формул — ты можешь вспомнить целые страницы моих писем, где то же говорю я языком не мертвым, но со всей страстью, со всем порывом, какой только можно вложить в писанные строки.

⟨Москва.⟩ 25 янв<аря⟩ (7 февраля) 909

Я давно ничего не писал тебе о себе. Да и нечего было. С. А. Поляков приехал и вскоре захворал; потом он выздоровел и захворала его жена. В общем видел его всего раз — часа на два. Сколько кажется, положение определилось такое: «Весы» издаваться будут, но я не буду их редактировать. Остаюсь лишь одним из «ближайших сотрудников». Редактировать официально берется сам Сергей Александрович, но сведется это, конечно, к тому, что будут «Весы» выходить под редакцией М. Ф. Ликиардопуло. Думаю, что от этого они *не станут хуже*, чем были, потому что все в них заведено на несколько лет. Но, разумеется, они *не станут лучше*, а это — смертный приговор. Живо только то, что идет вперед, что становится «лучше». Что же делать! Более я не могу приносить себя, свою душу, свою деятельность и свою гордость в жертву «Весам».

Оставив «Весы», я занялся приготовлением к печати разных, давно задуманных книг. В течение 1909—1910 года хочу напечатать их *двенадцать* (считая вторые издания «Ангела» и «Оси»). Не правда ли, достаточно? Пишу повесть «Семь смертных грехов» — из «будущей» жизни, о которой говорят, что я в ней специалист³⁴.

⟨Москва.⟩ 29 январ⟨я⟩ — 11 фев⟨раля⟩ 1909

Я стал очень взрослым, очень серьезным и (знаешь ли) «мудрым». Так мне все ясно в этом мире и в этой жизни. Я могу начать и жить и творить. Да будет продлена моя жизнь, — моя новая молитва.

⟨Москва.⟩ 30 января — 12 февраля 1909

Сегодня вечером должен читать в «Эстетике» отрывок из моей статьи о «Медном Всаднике». Не хочется мне этого очень. Настроение — совсем не для публичных выступлений. Да и статьи-то, строго говоря, еще нет: одни подготовительные наброски. Но как откажешься, когда билеты проданы и сколько-то людей ждет выступления Валерия Брюсова, как некоего зрелища. Покорствую.

⟨Москва.⟩ 31 января/13 февраля 1909

Всю жизнь мечтаю я о спокойном, усердном труде. И вот за 35 лет жизни не мог добиться того, чтобы осуществить свою мечту. Всегда какие-то обстоятельства заставляют меня работать лихорадочно, торопливо, печатать начало, когда не написан конец, сдавать в печать вещи не обработанные, не обдуманые... Клянусь, Бальмонт, которому это вовсе не нужно, имеет гораздо больше возможностей работать над своими произведениями, нежели я.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Аким Львович *Волинский* (Флексер, 1863—1926) — литературный критик и искусствовед, представитель идеалистической эстетики. Ему принадлежит крайне резкая оценка сборника «Urbi et Orbi»: обвинив автора в «искусственности», «надрыве» и «безвкусовой претензии», Волинский утверждал, что «Брюсов хочет быть декадентом во что бы то ни стало», поскольку «декадентство становится как бы чем-то обязательным для утонченного современного поэта» (А. Л. Волинский. Книга великого гнева. СПб., 1904, стр. 436, 437).

² Из стихотворения Брюсова «Поэту» (1907; *Все напевы*).

³ Семен Борисович *Любошиц* (1859—1926) — московский журналист. Его выступления часто носили скандальный характер — таким было его возражение на доклад Брюсова «Искусство и жизнь. О поэзии Фета» (см.: *Дневники*, стр. 129, 183). Выражение «стиль Любошица» Брюсов употреблял для определения скандальности и беспринципности в полемике (там же, стр. 132).

⁴ Сергей Викторович *Яблоновский* (Потресов; 1870—1954) — литературный критик, сотрудник газеты «Русское слово»; выступал со статьями и фельетонами, направленными против символистов; после Октябрьской революции эмигрировал.

⁵ О повести Кузмина «Крылья» см. наст. том, стр. 689 и 299.

⁶ Сергей Абрамович *Ауслендер* (1888—1943) — писатель; его рассказы с 1906 г. печатались в журналах «Золотое руно», «Аполлон», в изд-ве «Гриф». Ауслендеру посвящен сборник рассказов Петровской «Sanctus amor».

⁷ Об О. И. Дымове см. наст. том, стр. 486.

⁸ О журнале «Перевал» см. наст. том, стр. 497, 690.

⁹ «Зачарованный грот» — название цикла стихов в сборнике Бальмонта «Будем как Солнце» (М. «Скорпион», 1903).

¹⁰ Из стихотворения Бальмонта «Я полюбил свое беспутство...» (там же).

¹¹ О романе С. Пшибышевского «Нотто sapiens» см. наст. том, стр. 436.

¹² Монна Ванна — героиня одноименной пьесы Метерлинка (1902), поставленной в театре Комиссаржевской в сезон 1902—1903 гг. и затем обошедшей сцены почти всех больших русских городов.

¹³ Петровская описывает пребывание Блока в Москве, продолжавшееся с 10 по 24 января 1904 г. (см.: Александр Блок. Записные книжки. М., 1965, стр. 58—60).

¹⁴ Премьера спектакля «Вишневый сад» в Московском Художественном театре состоялась 17 января 1904 г.

¹⁵ Из стихотворения Брюсова «И снова я, простерши руки...» (1911; *Зеркало теней*).

¹⁶ Элевзинские мистерии — ежегодные религиозные празднества в древней Греции в честь богини Деметры, сопровождавшиеся драматическими представлениями и ритуальными танцами.

¹⁷ Из стихотворения Брюсова «Обряд ночи» (1905—1907; *Все напевы*). Неточность в приведенной цитате исправлена по *Собр. соч.*, т. I.

¹⁸ Опера Д. Пуччини «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-сан») в России была впервые поставлена в Оперном театре С. И. Зимина 25 января 1911 г.

¹⁹ Премьера спектакля Московского Художественного театра «Братья Карамазовы» состоялась 12 октября 1910 г.; спектакль продолжался два вечера.

²⁰ Пьеса Андреева «Жизнь Человека» была впервые поставлена в Московском Художественном театре 12 декабря 1907 г.

²¹ Портрет Брюсова работы М. А. Врубеля принадлежал издателю «Золотого руна» Н. П. Рябушинскому и висел в редакции журнала (ныне хранится в Гос. Третьяковской галерее). Брюсов считал первоначальный набросок портрета (см.: *ЛН*, т. 27-28, стр. 251) «гораздо замечательнее того, что мы видим теперь» и находил, что в процессе дальнейшей работы Врубель «много испортил» (*За моим окном*, стр. 19, 22). Тем не менее, встречу с Врубелем он считал «в числе удач жизни» (*Дневники*, стр. 137) и, по-видимому, высоко ценил его работу: «У меня есть снимки с прекрасного портрета Врубеля, — писал он 27 июля 1907 г. Ф. Ф. Фидлеру, — портрета, которым по справедливости горд» (ЦГАЛИ, ф. 2567, оп. 2, новое поступление). Не исключена возможность, что Брюсов не сочувствовал намерению Петровской и сам предупредил Рябушинского о предполагаемом покушении.

²² Из стихотворения Брюсова «Поэту» (1907; *Все напевы*).

²³ Из стихотворного цикла Бальмонта «Антифоны» (сб. «Горящие здания», 1900).

²⁴ Петровская полемизирует с характеристикой, которую дает Брюсову А. Белый в своих воспоминаниях «Начало века» (журн. «Эпопея», 1923, № 2, стр. 158—159). Об отношениях Брюсова и Белого см. наст. том, стр. 327—346.

²⁵ Из стихотворения Брюсова «И снова я, простерши руки...» (1911; *Зеркало теней*).

²⁶ Из стихотворения Брюсова «О себе самом», 1917; должно было войти в сб. «Девятая Камена». В сб. *Последние мечты* не вошло.

²⁷ Ошибочная позиция Брюсова в этом вопросе наиболее полно отразилась в его попытке полемизировать со статьей В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» (ст. «Свобода слова». — «Весы», 1905, № 11). См. об этом: *ЛН*, т. 27-28, стр. 188.

²⁸ Неточная цитата из стихотворения Брюсова «В ответ» (1902; *УО*).

²⁹ О работе Брюсова над переводом трагедии Э. Верхарна «Елена Спартанская» см. наст. том, стр. 575—584.

³⁰ По-видимому, Брюсов имеет в виду сборник статей Г. И. Чулкова «Покрывало Иэиды» (СПб., 1909; книга вышла в конце 1908 г.).

³¹ Из стихотворения Брюсова «Антоний» (*St*).

³² Из стихотворения Брюсова «Одиссей» (1907; *Все напевы*).

³³ К. Д. Бальмонт. Птицы в воздухе. Строки напевные (Пб., «Шиповник», 1908).

³⁴ Повесть «Семь смертных грехов» осталась неоконченной. Ее начало было опубликовано в *СЦ* — 1911.